

Нестора и присоединенного к нему тем же Нестором дополнения Амартола позволительно, думается, то, что не договорено в первом, попытаться извлечь из второго. Какая-то недоговоренность в сообщении Нестора о могиле Олега бесспорна: глагол «слыть», примененный тут к ней («словеть могила Ольгова»), означал ведь не просто «именуется», «носит название», как например тут же рядом употребленное Нестором «глаголется» («на горе, яже глаголется Щекавица»), а нечто большее: «славится», т. е. намекает, следовательно, на что-то сверх одного названия. И вот, не решаясь на большее, чем только намек, Нестор в виде пояснения и добавляет к нему из Амартола про Аполлония, у гроба которого тоже после смерти творились знамения «на прельщение окаанным человеком». Подобными же «знамениями» в Киеве во времена Нестора, как можно отсюда заключить, славилась могила Олега. Только это и хотел, видимо, сказать Нестор своим заимствованием из Амартола. Могила на Щекавице во времена Нестора продолжала оставаться средоточием культа Рода, с периодическими пирами — поминками, тризнами — боями и «плачами». Таков тот вывод, который можно сделать из наших сопоставлений.

Древнерусское языческое родопочитание доисторическим родоначальником Кием не ограничивалось; в обновленном виде тот же культ возродился снова, в историческое уже время, над могилой Олега, основателя Киевского государства и родоначальника княжеской династии, которому, в частности, в качестве княжеского родоначальника не могла не принадлежать и какая-то роль в выработке княжеского права, чему подтверждением может служить, как увидим, та же могила.

Это немаловажное культурно-историческое явление выпадало пока что из поля зрения русских историков; оттого-то многое в русском историческом прошлом и оставалось неясным. Почему, например, древнерусский книжник всякий раз, как заходила речь о язычестве, неукоснительно излагал один и тот же вовсе, однако, не единственный и в те времена взгляд на языческих богов как на обожествленных предков? Евгемеризмом его греческие источники во всяком случае не ограничивались. Тем не менее собственный выбор русского книжника почти ограничивался только теорией евгемера. Вопрос сразу же, однако, становится ясен, если учесть, что дело тут не в теории самой по себе, а в особой ее приложимости к наиболее живучим проявлениям собственного язычества Руси. Необъясним был и пресловутый черед «лествичного восхождения» князей на киевский стол, явно имитирующий отношения старшинства при родовом строе, не выводимый, однако, из этого последнего непосредственно ввиду столь же явной его изжитости в XI—XII вв. Но в качестве сакрально-культового пережитка того же самого родового строя и эта загадка русской историографии разрешается просто.

Субъектом владельного права русских князей был весь княжеский род, не потому что он сам сохранял до XI—XII вв. включительно архаическую структуру неделинного рода, а в силу только опиравшегося на языческий культ обычая: не обособленный от других властелин-вотчинник, а совладелец в общем владении, русский князь долго — дольше чем феодалы на Западе — не находил правовой и экономической опоры своим вотчинным притязаниям именно в силу тяготевших над ним пережитков язычества.

И тяготели они в сознании той эпохи не только над субъектом, но и над объектом княжого права: подобно роду неделима была, по крайней мере в идее, земля.

Культе земли, как и Рода, в русском язычестве был одним из основоположных. Он, впрочем, признается основоположным вообще в любой на-